

СТИХОТВОРЕНИЯ

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зелёный бросали горстями дукаты,
а чёрным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие жёлтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, *как* жёлтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жечь, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решёткой чёткой

железной мысли проводов —

перина.

И на

неё

встающих звёзд

легко опёрлись ноги.

Но ги-

бель фонарей,

царей

в короне газа,

для глаза

сделала больней

враждующий букет бульварных

проституток.

И жуток

шуток

клюющий смех —

из жёлтых

ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

ПОРТ

Просты́ни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В углах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У
лица.
Лица
У
догов
годов
рез-
че.
Че
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пёстр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник

рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоёваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти кллок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
чёрный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золóченной буквы
полезут копчѣные сиги
и золотокудрые брюквы.
А если весѣлостью пѣсьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жёстких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи –
иду
один рыдать,
что перекрёстком
распяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далёким пляжем
идёт луна –
жена моя.

Моя любовница рыжеволосая.

За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий
пестрополосая.

Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блёстками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студёные вёдра.

В шелках озёрных ты висла,
янтарной скрипкой пели бёдра?

В края, где злоба крыш,
не кинешь блёсткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя –
моя песня

в чулке ажурном
у кофеен!

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пёстрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает –
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой
фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца, –
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?

А я –

в читальне улиц –
так часто перелистывал гроба том.

Полночь

промокшими пальцами щупала
меня

и забитый забор,

и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.

Я вижу, Христос из иконы бежал,

хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,

слов иступлённых вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:

«Солнце!

Отец мой!

Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льётся
дорогою дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскрёбов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах
и без калош.

Толпа озверееет, будет тереться,
ощетинит ножки стоголая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется —
и вот

я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звёзды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевóчки

жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полúденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесёт эту беззвёздную мýку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?»

Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звёзды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По чёрным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу
глазет.

Вплакались в орущих о побитом
неприятеле:

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым ещё!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма — а — а — ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звёзды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мёртвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я ещё могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русый ус!»
Звонок.
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
«Оставьте!

О нём это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издёргалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушёл.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон –
меднорожий,
потный,

крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришёл к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и тёплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных
к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведённый на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваеете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре ... буду
подавать ананасную воду!

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы –
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!

Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки –
всё равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка всё равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка –
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звёзд сфабрикуешь консервы.

А если умрёшь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет
миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

НАДОЕЛО

Не высидел дома.

Анненский, Тютчев, Фет.

Опять,

тоскою к людям ведомый,

иду

в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.

Сияние.

Надежда сияет сердцу глупому.

А если за неделю

так изменился россиянин,

что щёки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,

роюсь в пиджачной куче.

«Назад,

наз-зад,

назад!»

Страх орёт из сердца,

Мечется по лицу, безнадёжен и скучен.

Не слушаюсь.

Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или
не дышит он.

Два аршина безлицега розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щёк.

Сердце в исступлении,
рвёт и мечет.

«Назад же!
Чего ещё?»

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —

воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?